

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

4

2003

2003

НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (936)

Апрель, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — По мосткам, по белым доскам, стихи	7
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Глаша, повесть	12
ЛАРИСА МИЛЛЕР — На тонкой леске, стихи	73
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ — Ничья сестра, стихи	76
ДМИТРИЙ НОВИКОВ — Куйпога, рассказ	79
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Поверх старого текста, стихи	85
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ. Рассказы современных словенских писателей: Эвальд Флиссар. Агрегат. Перевод Н. Стариковой; Милан Клич. Полной грудью. Перевод А. Судьиной; Яни Вирк. Дверь. Перевод Н. Стариковой; Руди Шелиго. Всё к лучшему. Перевод Ж. Перков- ской. Вступительное слово Михаила Бутова	88
РОМАН СОЛНЦЕВ — Древние рыбы, стихи	119

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Уже открыт новый счет... Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. Окончание	124
---	-----

МИР НАУКИ

МАКСИМ ШАПИР — Отповедь на заданную тему. К спорам по по- воду текстологии «Евгения Онегина»	144
---	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Я играю в жизнь	157
---------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Двоение Юрия Нагибина. Из «Литературной коллекции»	164
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Бак. Исповедь грантососа, или Конец Умберто	172
Ольга Постникова. «Встречь ветра жгучего...»	175
Сергей Костырко. Краб, который пятится	179
Елена Ознобкина. Жизнь философа	183

КНИЖНАЯ ПОЛКА ОЛЕГА ПАВЛОВА	186
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	192
CD-ОБОЗРЕНИЕ МИХАИЛА БУТОВА	201
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	211

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	217
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	220
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
СЕМЕНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА РЕЙНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА
(ГЕРМАНИЯ)!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ДВОЕНЬЕ ЮРИЯ НАГИБИНА

Из «Литературной коллекции»

Весь 1955 год лучшими силами московской пишущей интеллигенции готовился как либеральная бомба сборник «Литературная Москва», обещавший, при новых веяньях, разорвать нудный поток советской литературной казённости. К печати он был подписан в феврале 1956 — как раз в канун XX съезда компартии.

И ему-таки досталось много резкой брани от официальных надсмотрщиков литературы, хотя — в отдалении времени — видим, что ничем замечательным сборник не обогатил нашу литературу. А вскоре за XX съездом последовал 2-й сборник «Литературной Москвы» — уже действительно со взрывными «Рычагами» Александра Яшина и с добротным честным «Деревенским дневником» Ефима Дороша. Тут-то и стояли два рассказа весьма успешливого прозаика Юрия Нагибина — с литературным стажем уже лет в пятнадцать, а в общественном звучании весьма аккуратного.

Рассказы эти могут сослужить верным термометром того года: они показывали точную ту температуру, до которой московская интеллигенция разрешила себе нагреться и проявиться. Рассказ «Хазарский орнамент», неплохой в разряде «охотничьих» («чайного цвета озёра», «тьма населилась звёздами»), — однако вот вбирает и социальную тему, в меру разрешённого в тот миг (что бы о том да два годика назад, вот бы фурор): как бессмысленно укрупнение колхозов; что телята, вот, поели колхозную гречу с поля — а крестьяне и рады: не трудиться убирать; «мы-то сведомы, да вот город о нас не больно сведом». Из двух собеседников — охотник-интеллигент, знаток орнамента, запуган и сегодня, язык за зубами, а другой — энергичный, с отчаянно-смелыми взглядами («сколько понастроили никому не нужной дряни — колонны, арки, доматорты»), оказывается новоназначенным секретарем райкома, несущим новую жизнь в заглушенные места, притом передвигается пешком, и даже без сопровождающего, — опять иконный портрет, только на новый лад. — А второй рассказ, «Свет в окне», ещё смелей: социальное разоблачение на самой неопасной теме — дом отдыха. Долгое время там неприкасаемо хранился отдельный благоустроенный флигель на случай внезапного приезда начальства. Но *теперь* (то есть в отблесках XX съезда) «в отношениях между людьми всё более укрепляется дух взаимопонимания и доверия» — и уборщица самовольно впускает в запретные покои службу дома отдыха, повеселиться при телевизоре и бильярде, и директор чувствует, что это — хорошо, справедливо. (Он и сам собственную свинью отдал зарезать на прокорм отдыхающих.) Такая робко-возвышенная советская слащавая картинка. (Долго надо мучиться от «нету тем», чтобы такое придумать? Не так-то просто.)

Такие рассказы — в тот судьбоносный момент — уже достаточно представляют нам автора. И мы тут, минуя его ещё потом сорокалетнюю благополучную литературную жизнь, — шагнём сразу к финалу её, в 90-е годы, — и этот «Свет в окне» высветится нам по-новому.

За пройденные годы мастерство Нагибина усовершеншалось и оттачивалось, но всегда в рамках советской благопристойности, никогда и ни в чём, ни литературно, ни общественно, он не задевал вопросов напряжённых и не вызывал сенсации. Такое он совершил лишь в 1994 выходом своей последней, уже посмертной, книги из двух повестей: «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая тёща». Это, вероятно, наиболее интересное из всего, что Нагибин написал за всю жизнь. Весьма любопытна первая повесть, а вторая приобщает лишь дополнительные краски для впечатлений о писателе, прожившем более 70 лет в СССР.

Материал «Тьмы» — сплошь автобиографичен, и можно поверить автору, да это и видно: он старается, с большой психологической самопроработкой, быть предельно откровенен о себе, своих чувствах и поступках разных лет, но отобранных по стержню одной темы, именно: еврейской в СССР. Эта тема, как мы теперь узнаём, кипела в нём десятилетиями, никогда не прорвавшись вовне. «Тёща» — тоже автобиографична (жизненные обстоятельства повествователя легко совмещаются там и здесь), но события и чувства отобраны по другому стержню, эта вторая повесть — «история моей сексуальности», в преодолении «тошнотворных сексуальных табу»; повествователь находится в неоступном эротическом бреду, и: даже «старый, больной, умирающий, я трепещу былым трепетом», хотя уже, глядя в зеркало, «не верится, что так можно износить свой земной образ».

Да и мы от прочтения «Тёщи» испытываем пустоту. Однако и признаем: тут Нагибин достиг своего лучшего. Силы слога он не утратил до самой смерти, весьма изобретателен в словесности, не всегда, но в аккордных местах, куда вкладывает главное чувство: «округлая дароносица живота» (желанной тёщи), «кудрявый этот лес рассекало опаловое ущелье с живым, будто дышащим кратером; скважина и глубоко запрятан зев вулкана», «накалывал её [тёщу] через потолок [совокупляясь с женою на 2-м этаже] на раскалённый шампур страсти»; впрочем, и не всё же на прямых откровенностях: «несовершенно представление о женской красоте, если из него изъято средоточие тайны». — Встречаются яркие портреты, в изложении ему не отказывает остроумие, мелькает и юмор. В «Тёще» оставил он нам несравненные картинки замкнутой номенклатурной среды; не побывав там, средь них, такого не выдумаешь, не догадаешься (жадный расхват ношеного американского тряпья, крайняя грубость пиров, шуток, и это — «бренча орденами, как коровье стадо колокольчиками»). Отмечает у себя «большую любовь к природе», и правда же чувствовал её, тут его питали и многочисленные охотничьи перебраны, вот у него и гроза хороша, и «зелёные облака вокруг брачащихся сосен, осыпая пылью восковистые свечи». Лексические возможности у Нагибина изрядные, использует он их неровно, но и без натуги; даже из этих повестей можно выписывать и выписывать: *ножевой выблиск взгляда, людская несметь, оскальчивать взглядом, бездождный, вманчивый, рухнув сердцем, навдиг, наволочь, громозд, в обставе, скрут, вздрог, промельк, укромье, наподлив, взвей (сущ.), посмеркло, вклеиться, безпреградность, непрокашлянный голос, изнеживающее безумие* и др.

Автобиографичность обеих повестей, и страсть их, и художественная яркость «Тёщи» (повествование плотное, и фразы плотные, отработанные, местами их фактура вполне бунинская и лексика находчивая, хотя во «Тьме» о 1949 году — совсем газетный язык) никак не дают проминуть саму личность автора.

О характере и мировоззрении его разбросаны лишь скудные замечания. «Мгновенно никнувший перед даже малыми бытовыми трудностями», он считает, однако, что «даже уцелевшие жертвы [стихийных бедствий] не слишком переживают гибель родных стен, имущества, близких. Плачут, конечно, для порядка, даже голоса, требуют „гуманитарной помощи“, но как-то не от души, словно актёры на тысячном спектакле». Сам он не знал скудости в детстве, а с юности уже был в писательском доме в Лаврушинском у отчима-писателя, который и направил пасынка на писательский путь, по гладкой дорожке (интеллектуальное наследование, типичное для многих столичных семей круга искусства). Из писательского быта он более всего описывает свои куте-

жи, скандалы и драки в ЦДЛ: «блаженная тяжесть удара», «лежачего не бьют? чепуха» — и бьёт упавшего противника каблуком в ребро. Целая глава («Тьма», гл. 16) о серии его драк производит впечатление животное. Не намного чище и сцены разврата в киносъёмочной группе. В ЦДЛ он различает «чистую публику» и «нечисть, протерть» (писателей начинающих и студентов Литинститута). Заявляет о своей «слезе о Христе», но в юности — по снесённой церкви Николы в Столпах, «где было столько намолено» (так понять, что с матерью он в детстве ходил в церковь), — «никакой печали, ни тени лирического чувства не испытал — этот мир давно изжил себя». И два его упоминания о спасениях Руси Владимирской Божьей Матерью звучат несомненно иронично. — Ещё новый жизненный взлёт ждал Нагибина *после* краткой беглой первой женитьбы (не обрисованной сколько-нибудь): через женитьбу вторую он вошёл «в круг советских бонз» — до маршалов и министров, в «жизнь разгульную, залитую вином». И не так чтоб любовь к жене укреплялась в нём, сколько неутолимая страсть к теще и домогание её. Однако изрядно «боялся своего сановного тестя» — как, впрочем, и «к любому начальству, встречавшемуся мне на моём пути... я относился с ненавистью, презрением и *почтением*». (Были затем — третья и четвёртая жёны, о которых почти нет подробностей: с третьей «отказался соединиться», четвёртая «обременяла мою душу».) Вторая женитьба решительно повернула ход жизни Нагибина во время войны. Вообще-то на войну он «попал с чёрного хода как сын репрессированного», и несколько странное объяснение к тому: если поставлено ему было в отягощение, что сын репрессированного, — то должен бы неуклонно попасть в голодный и работный трудбательон. Но взамен того ему дали «белый билет по психиатрическому поводу» — и тут же, в противоречие с тем, он взят в ЦК комсомола, в тайный штаб (хотя в юности «я сумел избежать комсомола»). Там во множестве писал какие-то секретные отчёты *наверх* и воззвания к оккупированному населению — «о чём была эта писанина, убей бог не помню», — мыслимо ли такое? или уж такая отстранённость от страдающих людей? (Характерно и что его тамошняя начальница Хайкина — комсомольская Жанна д'Арк, «на тощей заднице болтался маузер», — «через много-много лет в виде... всё время плачущей еврейской бабушки» пришла «попрощаться в связи с её отъездом на историческую родину в США», — какая ироническая, но и закономерная передвижка судеб!) Но дальше ещё невероятнее — вскоре же наш герой взят *без проверки* (!) в отдел контрпропаганды Главного Политуправления Красной Армии — «у меня даже не спросили документов» (?), — сразу перешёл в офицерский чин, дальше оказался в редакции фронтовой газеты, ещё за тем — военкором центрального «Труда», весьма видное положение. (И как это всё сочеталось с его убеждениями? Хотя ему от слова «чекист» «веляло героической молодостью революции», но по повести рассеяны суждения — «советская скверна», советская «всеохватная ложь», «я ненавидел этот строй». И отчего же, отчего же это благородное сознание *ни разу и никак* не отразилось в его книгах за несколько десятилетий?!) — Но карьера Нагибина в войну не слишком задержалась и на том. Из сановной семьи он совершал лишь «поездки на фронт», на подмосковной даче у тестя «кропал статейки об очередных победах нашего оружия», захватно изнуряемый своей похотью к теще, так что вот: «мне никак не удаётся вспомнить, шла ли ещё война или уже кончилась», — сливаются для него год военный и послевоенный. Да и правда, разве для тех номенклатурных семей война существовала? Для того ли, чтоб ослабить ущерб своей чести, Нагибин вообще обливает всю ту войну презрением, оправдывая своё равнодушие к её исходу тем, что «фашизм не уничтожить. Его добивали в Германии, а он заваривался насвежо в Москве», — будто бы такое понимание было у автора уже тогда.

Кажется, весьма живописная картина жизни преуспевшего советского писателя? Но истинного сюжета мы ещё и не коснулись. Теперь, нарушая хронологию, придётся обратиться вспять, к детству писателя, ибо именно детство заложило в него тяжёлый излом на всю жизнь, он-то и вылился в «Тьму». А

ещё сперва — несколько слов о родителях автора. Мать его — потомственная русская аристократка, отсюда её привычное о народе: «холуи» (вслед за ней и сын: «масса, то есть стадо идиотов»). Отец (каким долго считает его автор) — еврей, «незадачливый биржевик», в конце НЭПа угождает в сибирскую ссылку, в начале 30-х возвращается, но не получает московской прописки, в 1937 дают ему ещё новую ссылку — недалёкую, но до конца дней. Мать тут же и выходит замуж за упомянутого писателя (нравы её такие: по несогласию бросает в мужа раскалённым утюгом), в 1941 тот эвакуируется, а мать остаётся в Москве, явно ожидая прихода немцев, — и без видимого труда убеждает сына остаться с собою. Детство мальчика (20-е — начало 30-х) проходит в старом московском квартале у Чистых Прудов. В их семье — благополучный быт, избранные игрушки, но по нраву тянет мальчика в компанию и подвиги дворовых мальчишек; однако никакими смелыми подвигами он расположения их добиться не может. И у него накапливается обида: «Чужак. Чужак, что бы я ни делал». Сейчас, по его поздним воспоминаниям и характеристикам, можно угадать, что причина была в нём самом: он описывает многих мальчишек, и всех в неприязненном, неприятном тоне: тот — глист, извивающийся под фуражкой, те — «стрижены от вшей; в чиряках и прыщах пролетарские дети деревенского вида», они все — ему чужи раньше, чем он им чуж, — и тем не менее «причина их нерасположения оставалась до времени темна для меня» — и, мнитися ему, разъяснилась, когда кто-то из них назвал его, по отцу, «жидом». И мальчик полностью определил тут и только в этом причину отчуждения. Но вот он переходит в школу, о которой тоже пишет с надменностью, следует поток жалоб и на неё; брезглив и неприязнен он к окружающим его мальчикам и девочкам — так что и удивляться не надо, что враждебны и к нему, хотя он первый физкультурник в классе; и всё равно: «холуйский состав нашего класса», хотя «наш класс уступал разве что синагоге по чистоте неарийской крови». Эти еврейские дети «живут припеваючи, их никто не преследует, не шпыняет». Такими свидетельствами Нагибин сильно подрывает своё национальное объяснение — но настаивает именно на нём, из него развивается и весь сюжет, из него родилась и повесть «Тьма». Рассказчик всячески растравляет себя. «На моей стене начертаны огненные письма: жид... жид... жид». У него, пишет, широкоскулое, чисто русское лицо, в произношении и поведении — ни следа еврейства, но вот: «Я узнал, что я недочеловек, и во мне сменилась кровь, я стал трусом»; «против стаи [дворовых мальчишек] я бессилен. Так постигал я науку трусости». «С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя недорусскость?! Вот трагедия: быть русским и отбрасывать еврейскую тень», — никогда не забывал этого, — «я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень»; мысль о еврействе — «кошмар моей жизни». (Благодаря ли этой чувствительности, он откровенно свидетельствует, что в Москве в октябре — ноябре 1941 были антиеврейские настроения.) Но затем «еврейская тема надолго закрылась для меня», а через номенклатурную женитьбу «я чрезвычайно укрепился в своей русской сути», там его принимали, по матери, за совершенно русского. И, может быть, на этом сюжете бы и закончился, если бы в 50-е годы мать внезапно не раскрыла бы ему, что его истинный отец — не тот, кого он считал всю жизнь, и стало быть не еврей — а некий русский студент, в Гражданскую войну убитый крестьянами за какую-то (не объяснённую читателю) агитацию. И первая реакция автора была, что ему такой отец — «третий лишний», это «физиологическое разгильдяйство», «надо было гондон надеть». Итак, автор — полностью русский по происхождению? Но тут же: «я начал как-то глухо сопротивляться столь желанному дару». «Как только я окончательно и бесповоротно установил свою национальную принадлежность, сразу началось резкое охлаждение к тому, что было мне вождено с самых ранних лет». «Узнавание [истинного отца] прибавило мне ненависти, омерзения», — так понять, что к простонародной русской толпе, за расправу её с отцом, — «но не любви»; «сбросив [прежний душевный груз еврейства] испытывал не облегчение, а утрату державшего меня стержня»; «вме-

сто ожидаемого чувства полноценности испытываю чаще всего стыд». И — обратное душевное движение: «Я хочу назад, в евреи, там светлей и человечней»; «почему я не могу быть евреем как все?» — в смысле: вернуться в более тяжкий жребий? Отца-еврея — «люблю... восхищаюсь им». И ещё так: «Никто нас [русских] не любит, кроме евреев», они, даже оказавшись в Израиле, «продолжают изнывать от неразделённой любви к России», — и эта любовь «была единственным, что меня раздражало в Израиле». — И ещё дальше: «Итак, я сын России», но «не обременён излишней благодарностью к стране берёзового ситца, ибо видел её изнаночью, нет, истинную суть». (Заметим: однако продолжал и продолжал кормить её благосоветскими изделиями своего пера...) «Прилив русскости неизменно ожесточал меня»; «Моя русификация пошла по дурному пути, я оскотинивался на глазах. Неужели я для того рвался в русские, чтобы стать свиньёй?»

И этот мучительный излом жизни даёт в Нагибине плод, который можно оценить уже как психическую болезнь: он начинает вымещать своё чувство на России и на русских. Теперь «со сладью и с зубовым скрежетом» он кидается в драки: «Теперь пришла пора расплаты, страна тоже возвращала мне должок [за тех дворовых мальчишек]. Я бил в нос и в Уральский хребет, в скулу и в Горный Алтай, в зубы и в волжские утёсы, по уху и по Средне-Русской возвышенности», — реакция довольно-таки поразительная и даёт удручающие выводы для возможностей русско-еврейского взаимопонимания, которое, однако, столь ведь несомненно! «Я не только дрался, но и безобразно много пил, кутил как оглашенный, не пропускал ни одной бабы, учинял дебоши... моя квартира попеременно была то кабаком, то бардаком, а нередко совмещала...» (деньги были от обильных заработков в кино). А если в драке не добил противника — это оттого, что «я слишком долго носил отравленную ядом жиновского мягкосердия шкуру...». В этом новом состоянии автор снова ворошит в памяти и переосмысливает свои жизненные наблюдения. Детство: «Твои самые близкие друзья — евреи, наши знакомые почти сплошь евреи», — и вот «они все несли в себе нечто такое, что объединяло их в единый клуб. Какое-то изначальное смирение, готовность склониться, их взгляд был вкрадчив, улыбка словно просила о прощении». Приводит распространённое объяснение ненависти к евреям как следствие их незащитности. «Есть замечательное высказывание: „еврей — тот, кто на это согласен“», однако же и: «я не видел евреев, несчастливых своим еврейством»; да вот и случай: «я победил мозгами, чисто по-еврейски». Отмечает «решительное преобладание евреев» в «литературно-киношной» среде; присоединяется к формуле, что «отношение к евреям — лакмусовая бумажка любой политики». И даже так запальчиво выводит: «Казнив Христа, евреи дали миру новую религию».

А что же — о русских? С первой же главы настойчивое словоупотребление «холуи», «холуйство» — по сути обо всех, кто не входит в узкое окружение автора, его семьи, затем его киношного круга. Уничтожительные оклики потом в повести ещё и ещё выплывают, — то «люмпены», то «саблезубое мешанство», «холопы». Тут нет снисхождения равно — и «Пржевальскому, Кулибину и прочей нечисти», и собственной няне с её мужем: якобы, «когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиритованную мочу из ночного горшка». «Гений Кутузова, героизм армии, народное сопротивление» в 1812 — «официальные мнимости». — А можно ли жить в российской глубинке? «Отвечу: нельзя. Случайный сброд, осевший на болотистой, смрадно дышащей подземным тлением почве, исходил скукой, злобой, завистью и доносительством». И «не надо думать, что [это место] являлось каким-то монстром, вся страна сплошное [такое место], но в Москве и в Ленинграде можно было создать себе непрочную изоляцию». — Да «скажу прямо, народ, к которому я принадлежу, мне не нравится». Даже вот что: «самое удивительное то, что русский народ — фикция, его не существует, «есть население, жители, а народа нет», его объединяет только «родимое „...твою мать!“»; «не произношу слова „народ“, ибо народ без демократии — чернь», «чернь, довольно много-

численная, смердящая пьянь, отключённая от сети мирового сознания, готовая на любое зло. Люмпены — да, быдло — да, бомжи — да, охлос — да», — и вот «этот сброд приходится считать народом». «Сеятели и хранители попрятались, как тараканы, в какие-то таинственные щели» и «по-прежнему ничего не делают». Да вот поразительно: «даже на экране телевидения не мелькнёт трудовое крестьянское лицо» (кто ж его туда допустит? там свои штатные вещатели) и, поноснее того: «сельское население живёт вне политики, вне истории, вне дискуссии о будущем, вне надежд, не участвует в выборах, референдумах». А вот и прямой монолог: «Во что ты превратился, мой народ! Ни о чём не думающий, ничего не читающий, нашедший второго великого утешителя — после водки — в деревянном ящике... одуряющая пошлость [а — чья?], заменяющая тебе собственную любовь, собственное переживание жизни». Хуже того: «ты чужд раскаяния и не ждёшь раскаяния от той нежити, которая корёжила, унижала, топтала тебя семьдесят лет», «он же вечно безвинен, мой народ, младенчик-убийца», «самая большая вина русского народа, что он всегда безвинен в собственных глазах. Мы ни в чём не раскаиваемся, нам гуманитарную помощь подавай». Да и «едва ли найдётся на свете другой народ, столь чуждый истинному религиозному чувству, как русский», «липовая религиозность», «вместо веры какая-то холодная остервенелая церковность, сухая страсть к обряду, без бога в душе», «неверующие люди, выламываясь друг перед другом, крестят детей».

И этот весомый, глубоко прочувствованный приговор о русском народе — особенно непререкаем в устах русского писателя, чей нравственный облик нам прорисовался на предыдущих страницах, с большим опытом цэдэловского ресторана, драк и разврата, лёгких денег от кино, — он на высоте, чтобы судить как имеющий моральную власть. Он-то и явил нам образец желанного раскаяния — какая типичная фигура для столичной образованщины 80 — 90-х годов!

Чем дальше читаешь — начинаешь угадывать: да ведь это ещё один Печерин через полтора века лет! И ждать нам недолго, Нагибин и не скрывает: «Как сладостно отчизну ненавидеть», прямо и ссылается на источник.

И «что же будет с Россией? А ничего, равным счётом ничего. Будет всё та же неопределённость, зыбь, болото, вспышки дурных страстей. Это — в лучшем случае. В худшем — фашизм. С таким народом возможно и самое дурное». Да ведь когда этот народ всё же миру понадобился — Нагибин из солдатского котелка с ним не ел, он плавал в сексуальном тумане сановной семьи. Сочетанием своих двух предсмертных повестей он поставил выразительный памятник герою нашего времени. Ну, так и быть, для подсластки: «Надо бы помнить и дать отдохнуть русскому народу от всех переживаний, обеспечивая его колбасой, тушёнкой, крупами, картошкой, хлебом, капустой», — это же всё в Москве производится, — «кефиром, детским питанием, табаком, водкой, кедами, джинсами, лекарствами, ватой», — остановиться не может в перечислении: «... и жвачкой».

Конечно, такое восприятие русского народа не может не соседствовать, или даже не иметь своим истоком убеждённости в неискоренимом злобном антисемитизме этого народа — причём от самых давних времён: «древний русский клич „Бей жидов!“» — *древний?* предполагает несколько столетий тому назад, во всяком случае прежде XVII, столетия за два до прихода евреев в Россию. «Извечный русский вопрос: уж не начать ли спасти Россию старым проверенным способом [то есть еврейским погромом]?»; *извечный* — это уже что-нибудь от века X — XI, или даже ранее самой Руси. Антисемитизм — это «нечто, довлеющее самой глубинной сути русского народа, такое желанное и сладимое»; «русский шовинизм. И никакой другой эта страна быть не может». «Всё же есть одно общее свойство, которое превращает население России в некое целое... Это свойство — антисемитизм», «страсть к душегубству», «антисемитами были Достоевский, Чехов, З. Гиппиус...».

И вот, укромно промолчав на сколько-нибудь важные общественные темы сорок лет своей литературной карьеры, во внешней смирности осторожно

обойдя истинные горечи советской жизни, — вдруг, когда дозволило мание царя, с «перестройки», с «первым ведем свободы», — Нагибин распрямился в могучую высоту и в это разрешённое свыше время выплеснул всё накопившееся негодование, а именно: теперь он «не был молчаливым свидетелем фашистского разгула», но «кажется, единственный из всех пишущих ввёл тему национал-шовинизма в беллетристику», — поклонимся этому подвигу... Но что дальше? «При личных встречах я слышал немало прямо-таки захлѣбных слов: мол, выдал по первое число черносотенной банде!» Однако, увы, увы, даже «у единомышленников и единосочувствующих» сложилось мнение «не считать это литературой», этакая «фальшиво-брезгливая гримаса мнимых ревнителей изящной словесности», и даже, даже: «на страницах газет — ни упоминания, будто этих моих рассказов и повестей не существует», — к чему Нагибин за свою успешную литературную карьеру никак не привык. Правда, «в нескольких отзывах, прорвавшихся на страницы пристойных газет», признавали, что «хоть в сатирическом жанре», но «это настоящая и хорошая литература». Картина довольно ясная.

Вряд ли мы обогатимся, листая эту его сатиру. Да даже, вероятно, и всю пятидесятилетнюю даль его произведений. Чего напрочь не было и нет в Нагибине — это душевности, тѣплого чувства. Вот уж в самом деле — Тьма в конце...

Сам он выделяет из своего творчества, считает выдающимся успехом некий журнальный очерк 1949 года о председательнице колхоза, который дальше переделал в киноповесть, а из неё родился фильм «Бабые царство», и имел премию в Испании, из него же — и пьеса в театре Ленинского Комсомола, из него же и опера, и та опера и записана, и хранится навеки (только не транслируется) в сокровищницах Радиокomiteта. Уже такой шумный успех в советской обстановке внушает основательное сомнение в доброкачественности: вряд ли «Бабые царство» далеко ушло от «Кубанских казаков»... Знающие деревню писатели говорят: пейзаж, да ещё по-советски вымороченное. (И другой, за тем, свой фильм Нагибин оценивает как «истинно народный».)

Опубликованный в 1995 многолетний «Дневник» Нагибина с усмешкой объясняет мотивы литературного поведения: «...стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать... тогда... хочется марать много, много». Тут и прямо о кино: «Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться»; и даже вот его «вычеркнули из едущих на летнюю Олимпиаду... А ведь я объездил двадцать пять стран... и вѣл себя безукоризненно во всех поездках», я «заслужил у властей». *Безукоризненно вѣл, положительное воздействие!* — всё по меркам ЧК и ЦК — какой автопортрет преуспевающего советского писателя-хряка и сколько сотен их он объясняет!

«Истинная народность» «Бабые царства» рельефно дополняется его оценкой «деревенщиков». Хотя он и обранивает однажды: «великолепная деревенская проза 70-х», но пишет и: «их [„деревенщиков“] кряжистость, независимость духа, земляная силушка — не более, чем личина». И хотя Нагибин одно время входил в редакцию раннего «Нашего современника» — но с отвращением это переносил: «как пленительно воняло на долгих наших редколлегиях», «у нас воняло грязными носками, невымытым телом, селѣдкой, перегаром, чем-то прелым, кислым, устоявшимся, как плотный избяной дух», и «наши корифеи» из провинции и одеты были бедно, неумело. (Слегка меняя фамилии, он высказывает недоброжелательность и к отдельным из них, и особенно с явной завистью к успехам Шукшина.)

Вообще же краткие описания литературной и киношной среды — нечистые, и с поверхностной стороны: заработки, пьянки, скандалы — и ничего близкого к сути писательства. Кольцо образа замыкается.

Фигура нашего автора не будет дорисована, если упустить его политические высказывания, начиная от «Перестройки». Нелишне добавить их сюда.

«Восемьдесят пятый год сдёрнул „ткань благодатную покрова” с нашей страны, народа, общества... Обнажилась истинная сущность власти, институций...» — того строя, на который «работали вещи» его, — так ли понять, что и Нагибину открылась лишь тут? миллионам и миллионам она была видна давно. — Демократические демонстрации 1989 — 91 годов и кровь трёх случайно погибших в августе 1991, когда «мальчики и девочки пошли грудью на танковые колонны своей армии», — «единственный залог спасения России». Что касается армии и милиции, то, «слегка поколебавшись во время октябрьских событий [1993], они выполнили свой долг на высшем профессиональном уровне» (армия — стрельбой по дому парламента, милиция — избиением прохожих). И как вершина — «мужественный и умный Егор Гайдар», не чета «несчастному придурку Николаю II», которого «недаром же называли в старой России „крававым”».

И это — пишется после всех большевиков и после ГУЛага...

